

и настоящее нашей страны подвергаются злобным нападениям со стороны империалистического окружения и его ученых прислужников. Ученая деятельность Грегуара даже в такой, казалось, отдаленной от современной области, как византиноведение, может служить хорошей иллюстрацией этого положения, помогает отбросить ошибочное представление о чистой, академической науке, будто бы существующей у буржуазных специалистов. Да и сам Грегуар не скрывает политической направленности современного буржуазного византиноведения. Еще во время войны он писал в своем журнале: „Теперь, когда географическая и историческая важность Византии — Константинополя — Стамбула проявляется все решительнее, когда вопрос о проливах является главнейшим в европейском и мировом конфликте, когда владения (некогда византийские) в Европе и Азии снова являются осью цивилизованного мира, — нет нужды агитировать за историю Византии. Она силой вещей снова введена в общую культуру, даже в Америке. И не будет парадоксом сказать, что США теперь не встретят взятия Константинополя с такой тупой инертностью, как это было в Западной Европе в 1453 г.“<sup>59</sup>

Это лишний раз свидетельствует об откровенном пресмыкательстве тех западноевропейских ученых, которые, не брезгуя явной фальсификацией истории, стремятся помочь американскому империализму в его попытках установления мирового господства.

*М. В. Левченко.*

### **БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ВИЗАНТИНО-МОРАВСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В СЕРЕДИНЕ IX в.**

Эта тема имеет чрезвычайно большое значение и для политической и для культурной истории славянских народов. В упорной борьбе с немецкой агрессией молодое славянское государство должно было искать внешней поддержки, — поэтому моравский князь Ростислав обращается в Константинополь. Византийский император Михаил III и патриарх Фотий посылают в Моравию церковную миссию, во главе которой стоят крупные византийские дипломаты: солунские братья Константин и Мефодий. Стремясь установить моравскую церковь, независимую от немецких епископов, защищавших интересы немецких феодалов, византийские миссионеры выступают с лозунгом создания славянской литургии, церковной службы на славянском языке. Для этого Константину и Мефодию пришлось разработать славянскую письменность и перевести на славянский язык большое число богослужебных книг. С этих переводов Константина и Мефодия и приходится начинать историю славянской литературы.

Однако известия о византино-моравских отношениях в середине IX в. скудны. Эти сведения приходится черпать почти исключительно из иностранных житий солунских братьев, из так называемых „Паннонских легенд“. Однако вопрос о характере и времени создания Паннонских легенд весьма сложен, и разногласия в датировке их в буржуазной науке продолжаютя и до последних дней. В то время как известный польский историк А. Брюкнер, впадая в крайность, считал автором или, по крайней мере, редактором жития Константина (далее обозначается ЖК) самого Мефодия, к тому же собравшего материал для собственного

<sup>59</sup> Byzantion XVI, t. 2 (1942/3). Book Reviews; Ostrogorsky. Geschichte des Byzantinischen Staates. München, Beck, 1940.

жития (далее обозначается ЖМ), в самое последнее время было высказано противоположное мнение, отодвигающее написание легенд чуть ли не к XV в. Это мнение в 1945 г. высказал и сделал попытку обстоятельно обосновать В. Сл. Киселков.<sup>1</sup> Основные его доводы таковы.

Паннонские жития не имеют признаваемого за ними значения, так как это не оригинальные, самостоятельные произведения, а обыкновенные средневековые компилятивные жития, местами мастерски составленные на основании старых, известных и неизвестных науке памятников. Авторы использовали старые краткие жития Константина и Мефодия, итальянскую легенду, текст Несторовой летописи, не дошедшее до нас сочинение Константина Философа о хазарской миссии и другие источники. Составители должны были обладать значительным образованием и большой любознательностью, чтобы использовать эту сумму источников — „староболгарских“ (это подчеркнуто у Киселкова), русских, латинских и греческих.

Очень позднее происхождение и компилятивный характер легенд ясен, по Киселкову, из „множества признаков“. Выбираем главные.

1. Из известных в науке 17 списков ЖК и 8 ЖМ нет ни одного старше второй половины XV в. Это говорит за то, что легенды написаны не ранее XV в.

2. Списки происходят от одного „болгарского“ подлинника и различаются только разностями в правописании, где видны следы влияний языков сербского, русского, латинского и греческого.

3. Авторы склонны к легендарности, проявляют наивность, идеализируют прошлое.

4. В легендах встречаются противоречия исторической правде, или другим памятникам и даже самим себе. Имеются анахронизмы.

5. Если легенды написаны на основе других книжных памятников, то, очевидно, они написаны „много лет“ спустя после смерти братьев.

6. Что легенды представляют собой компиляцию из известных и неизвестных науке памятников, это, по мнению Киселкова, видно из предлагаемого им текстуального сопоставления отдельных мест легенд с выдержками из кратких проложных житий, из итальянской легенды, похвальных слов Константину и Мефодию, из „Несторовой летописи“ (Повесть временных лет), из церковных служб Кириллу и Мефодию.

Относительно вышеизложенных доводов заметим следующее.

Отсутствие ранних списков пространных житий не может говорить за то, что жития появились только в XV в. Письмо Анастасия Библиотекаря, открытое проф. Фридрихом в 1892 г., сохранилось пока только в рукописи XIV в. (рукопись Алкобазской библиотеки, около Лиссабона); но никому не придет в голову отодвигать время появления письма к XIV в. Однако относительно жития Мефодия известно, что его можно читать в сборнике московского Успенского собора, который относится, по мнению О. Бодянского, А. А. Шахматова и П. А. Лаврова, к XII в.<sup>2</sup> А житие Кирилла, по многим признакам и по общему мнению исследователей, написано раньше жития Мефодия.

Если в тексте житий наблюдается бесспорное влияние русского и сербского языков (некоторые исследователи отмечают и моравизмы), то естественно предполагать, что списки житий, прежде чем дойти до XV в., прошли через руки переписчиков разных национальностей, на что требо-

<sup>1</sup> Д-р В. Сл. Киселков. Славянские просветители Кирил и Мефодий. София, 1945, стр. 58 и сл.

<sup>2</sup> См. критические замечания М. Н. Тихомирова. О некоторых болгарских исторических трудах. — Вопросы истории, 1948, № 6, стр. 91.

валось немалое время. Между прочим, влияние греческого и латинского языков для авторов XV в. труднее объяснить, нежели для лиц, более близких к окружающей солунских братьев; в ЖМ XVII о Горазде читаем отзыв самого Мефодия: „оучень же добръ въ латинскую книгу“.<sup>3</sup>

Признаки легендарности и тератологический элемент в житиях объясняются самым свойством житийского жанра, и нужно удивляться не тому, что тератологический элемент здесь есть, а тому, что он так ограничен в житиях, особенно в житии Мефодия. Если авторы легенд „идеализируют прошлое“, то не потому, что после событий и до их эпохи протекло шесть веков, а потому, что самая цель всякого жития требует прославления своего героя, и элемент идеализации здесь неизбежен.

Известно, что в пространных житиях встречаются ошибки. Но в одних случаях жития сами себя исправляют, в других этим ошибкам исследователи ищут объяснений и легко вносят поправки (в ЖМ VIII в письме Адриана II титул папы „раб божий“ вместо „рабъ рабъ божиихъ“ (*servus servorum Dei*). Отдельные ошибки оказываются не ошибками, а историческими фактами (например, встреча Мефодия с венгерским князем (ЖМ XIV) подтвердилась недавно открытой хроникой Адмонта).<sup>4</sup> При всем том наличие ошибок не дает права отодвигать памятник на 600 лет, как не может колебать общей достоверности житий, а лишь требует проверки каждого отдельного их показания путем сопоставления с другими источниками или же через выяснение исторической возможности отмечаемого факта.

Соображение, что наши легенды написаны на основе других книжных памятников и, следовательно, появились „много лет“ спустя после смерти братьев, еще недостаточно, чтобы отнести их на целые шесть веков позднее эпохи братьев.

Попытка доказать, что жития являются компилятивным памятником, собранным из разных сочинений, не может быть признана обоснованной. Наши легенды вовсе не носят характера компиляции набранных с разных сторон и механически сцепленных отрывков; это не грубо сделанная мозаика, а цельные, законченные произведения, где не удастся обнаружить разницы стилей и мировоззрений, политических и церковных тенденций, симпатий и антипатий. Если в ЖК внесены части полемических сочинений или речей, а в ЖМ целое папское письмо, то это не компилятивность, а документальность. С другой стороны (это не менее важно), Пространные жития богаче содержанием всех памятников, какие могли бы быть привлечены в компиляцию; нетрудно свести все эти сочинения к заимствованиям или переделкам ЖК и ЖМ,<sup>5</sup> но нельзя ЖК и ЖМ свести к этим сочинениям. В житиях встречаются места, которых неоткуда было заимствовать и которые мог написать только человек, близко знакомый с событиями того времени. Таково сообщение ЖК XVII,

<sup>3</sup> Удобным для пользования изданием источников является „Сборник источников для истории жизни и деятельности Кирилла и Мефодия“, составленный Н. Я. Ястребовым. СПб., 1911; критическое издание Пространных житий дано П. А. Лавровым: Академия Наук СССР. Труды славянской комиссии, т. I; П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930.

<sup>4</sup> *Annales d'Admont*. E. Kiebel. Eine neu aufgefundene Salzburger Geschichtsquelle. — *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde*, 1921. Имеются замечания K. Schüneman'a в *Ungar. Jahrbücher* 1922, II, pp. 222, 221. Издание осталось нам недоступным, и мы вынуждены ограничиться ссылкой на Fr. Dvornik. *Les Légendes de Constantin et de Méthode, vues de Byzance*. Prague, 1933. „Byzantinoslavica Supplementa“, t. I, p. 224.

<sup>5</sup> Может быть, Итальянская легенда и Паннонские легенды черпали материал из общего источника в тех разделах, где их содержание совпадает.

что во время пребывания братьев в Риме (868) там были хорошо известные исторические лица — епископы Формоз, Гаудерих, Арсений и Анастасий Библиотекарь.<sup>6</sup> „Повель папѣж двѣма епископома, Формосоу и Гондрихоу, сватити словѣнскыа оученикы“. „Пѣша сватоу ю литоургию словѣнскы надѣ сватымъ гробомъ (т. е. ап. Павла), имѣюще на помощь сватаго Арсеніа епископа, единого соуща (цѣь седми епископ, и Анастасіа вивлотикара“. Или другое замечание — о судьбе враждебных Мефодию лиц, „чудесно погибших“ за эту враждебность, т. е. умерших вскоре после столкновений с Мефодием (ЖМ X): „ѡни не избыща сватаго Петрова соуда. Д бо цѣь нихъ епископи оумьроша“. И в самом деле, словно сговорившись, почти одновременно перемерли архиепископ зальбургский Адальвин (875), епископы: фрейзингенский Ганнон (875), пассауский Герменрих (874). Четвертый мог быть не епископ, а архипресвитор Рихальд, но и он пошел в общий счет с епископами. Можно сослаться на XV главу ЖМ, где содержатся столь важные сведения и о переводческой работе Мефодия.

Отдельные показания житий блестяще подтвердились историческими документами, вроде письма Анастасия Библиотекаря к Гаудериху. Считать вместе с В. Киселковым ошибкой указание житий на то, что братья (прежде всего Константин) признавались на Западе святыми уже в близкое к ним время, — нет оснований. Пусть у братьев, особенно у Мефодия, было много врагов среди немцев; были лица, не сочувствовавшие их делу, и в Риме, и Нятцах — Венеции. Но память Константина бесспорно пользовалась великим уважением на Западе, была окружена ореолом святости. *Vir magnae sanctitatis; vir apostolicae vitae* — вот известные отзывы Анастасия Библиотекаря. Несомненно, пользовался Константин почетом и на Востоке; его гимны, написанные в честь папы Климента в связи с „открытием его мощей“ в Херсонесе, пелись в греческих церквах.<sup>7</sup>

Мы продолжаем считать, что Паннонские легенды возникли в годы, близкие к эпохе братьев, где бы они ни появлялись — в Паннонии, Моравии или Болгарии. Остаются неизвестными их авторы или автор; может быть, это ученики братьев (особенно Климент) или ученики их учеников. Но самые легенды содержат в основном надежный материал, не исключаяющий, однако, ошибок и нуждающийся в критической оценке отдельных показаний.

Вопросами, связанными с византино-моравскими отношениями в середине IX в., в последнее время много занимался чешский ученый Франтишек Дворник.<sup>8</sup> В своей докторской диссертации „Славяне, Византия и Рим в IX в.“ Дворник совершенно справедливо рассматривает византино-моравские отношения этого времени не изолированно, но в тесной связи со всей историей взаимоотношений между славянами и Византийской империей, начиная с VI в. Однако эти взаимоотношения рассматриваются им в идеалистическом плане: Дворник изображает славян как реципиентов византийской культуры и говорит о воплощении в славянах византийской души, византийского гения. Поэтому он видит в христианизации,

<sup>6</sup> Этого совпадения не отрицает В. Киселков, хотя и хотел бы отнести его к 870 г.

<sup>7</sup> В письме Анастасия к Гаудериху читаем: „Quae idem mirabilis vere philosophus in hujus (s. Clementis) honorabilium inventionem reliquiarum solemniter ad himnologicon Dei omnipotentis edidit, Graecorum resonant scolae“. Ястребов, стр. 79.

<sup>8</sup> Fr. Dvornik. Les Slaves, Byzance et Rome au IX-e siècle (Travaux publiés par L'Institut des Etudes Slaves, v. IV), Paris 1926 De SS. Cyrillo et Methodio in luce historiae byzantinae (Acta V Conventus Velehradensis), Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance, Prague, 1933, Cyrill und Methodius Menschen, die Geschichte machten, Bd. I, Wien, 1933.

в миссии солунских братьев сущность славяно-византийских отношений, а отнюдь не один из этапов сложной политики: не миссия, по мнению Дворника, служила орудием политики, а политика — средством миссии, средством „воплощения в славянах византийского гения“. Дворник решительно отрицал, что деятельность миссии была обусловлена политическими соображениями, и исключал политическое значение посольства моравского князя Ростислава в Византию в 862 г. Значение этого посольства он сводил к гораздо более скромным целям — пригласить проповедников, владеющих славянским языком. Фр. Дворник рассуждал так. Нельзя допустить, чтобы Ростислав имел в виду заключить политический союз с Византией: он не мог не понимать, что расстояние между Византией и Моравией слишком велико и отношения могут быть только непрямые. Кроме того, в данный момент не было условий, которые диктовали бы такой союз: старый антагонизм между франками и Византией смягчился, а с болгарами моравы были в хороших отношениях. Правда, в 863 г. Людовик Немецкий заключил союз с Борисом против Ростислава, но это, несомненно, было уже после посольства. Итак, политический союз не входил в планы Ростислава. Не мог он мечтать и о правильной церковной организации с епископом во главе, так как христианство в Моравии было распространено очень слабо. Было бы чистым безумием при наличных условиях пытаться связать Моравию с византийским патриархом. Такая попытка вызвала бы энергичный протест Рима, а немцам доставила бы прекрасный случай вмешаться, как защитникам папы, в славянские дела. Событие представляется более простым. Ростислав опасался немецких проповедников, которые были столько же служителями евангелия, сколько эмиссарами немецкой монархии. Немецкие епископы и аббаты очень часто меняли свой крест и посох на панцырь и меч, направленный против славян. Ростиславу нужны были проповедники, знающие славянский язык, — ему было безразлично, где их искать, и поэтому, не найдя их в Риме, он обратился к Византии. Если это обращение имело неисчислимые исторические последствия, то Ростислав их предвидеть не мог. Такова цепь рассуждений Дворника.

Мы не можем согласиться с доводами Дворника. Пусть расстояние, разделявшее эти страны, исключало возможность переброски армии в пределы союзника, но этого и не требовалось. Союз мог быть направлен прежде всего против Болгарии, как опасного для обоих государств и ненадежного соседа, и в этом случае возможность совместных, т. е. одновременных, действий вполне допустима. Если антагонизм франков и греков и смягчился, то не исчез: противоречия интересов в Италии и в северо-западном углу Балканского полуострова сохраняли свою силу. Споры из-за императорского титула по временам ослаблялись, но не исчезали. Василий Македонянин вычеркнул в актах собора 869 г. императорский титул перед именем Людовика II; затем между двумя императорами возникла, по инициативе Константинополя, неприятная (для нас очень интересная) переписка,<sup>9</sup> хотя политические интересы (общая арабская опасность) диктовали необходимость союза двух империй и вызывали дипломатические переговоры, а по другим мотивам возникали и проекты брачных союзов (между сыном Василия Македонянина и дочерью Людовика II).

Называть отношения моравов и болгар в 862 г. хорошими представляется странным, если в следующем же 863 году Борис заключил

<sup>9</sup> Ответное письмо Людовика II сохранилось. — *Baronii Annales, ecclesiastici, Coloniae Aggripinae*. 1603, vol. X, ad annum 871 (p. 557 sq.).

с Людовиком союз против Моравии; вполне правдоподобно, что Ростислав в 862 г. уже предвидел готовившееся враждебное выступление Болгарии. Можно ли считать попытку установить связь с византийским патриархом чистым безумием? Едва ли. Если приходилось бояться немцев, то здесь дело зависело от реального соотношения сил. Борьба с немцами продолжалась, исход ее еще не определился, и Ростислав не чувствовал себя слабее немцев. Если бы за ним сохранился перевес, он добился бы независимости и от немцев и от Рима, и мог бы установить связи с Византией. Тремя-четырьмя годами позднее болгарский князь Борис в своих колебаниях между Византией и Римом не обнаружил боязни ни пред Римом, ни пред Византией, ни пред немцами: он действовал, как находил нужным, — и мог так поступать, потому что чувствовал свою силу. В 865 г. он принял христианство из Византии, обманув ожидания и Людовика Немецкого, и папы, а в 866 г. нашел нужным, к радости Николая I, вступить в церковную зависимость от Рима. На недовольство греков он не обратил внимания. Через два года Борис снова вернулся под юрисдикцию константинопольского патриархата. Рим, конечно, протестовал и пред Борисом, и пред Василием Македонянином; патриарху Игнатию, все время искавшему и находившему защиту и опору в борьбе с Фотием в Риме, грозили анафемой. Все было бесполезно. Немцы, конечно, за папу не заступились, — вопреки ожиданиям Дворника. Игнатий сослался на волю императора и прикрылся решением собора 869 г.; Борис и Василий никаких угроз не боялись, и все осталось так, как хотели они, а не папа. Так было бы и с Ростиславом, если бы его государственная мощь была крепче. События 864 г. показали, что необходимой мощи не было, и планы политической и церковной независимости Моравии оказались разбитыми.

Говоря о книге Дворника, приходится отметить крайне неряшливое обращение автора с фактами. Например, Дворник постоянно называет императора Михаила I Рангаве — Михаилом II, Феодосия II дважды называет Феодором, приписывает патриарху Никифору четыре литературных выступления против Магнаса (?), тогда как на самом деле Никифор написал три памфлета против Мамоны, под которой он разумел иконоборческого императора Константина V (Migne. Pat. gr., vol. 100, col. 508—509). Особенно много погрешностей допускает Дворник там, где рассказывает об арабо-византийских отношениях; хотя он и ссылается на книгу А. А. Васильева „Византия и арабы“, но в изложении своем совершенно не учитывает исследованый Васильева и ведет рассказ буквально по старой и не соответствующей современному состоянию науки книге Гердберга. Подобных примеров можно привести очень много. Особенно странен рассказ Дворника о том, что арабы в середине IX в. захватили Дамаск, хотя на самом деле имела место лишь попытка перенести столицу из Багдада в Дамаск.

Взгляды Дворника не привились даже в буржуазной науке: уже В. Н. Златарский<sup>10</sup> и Ив. Огиенко<sup>11</sup> решительно подчеркнули политический характер посольства Ростислава и миссии солунских братьев. В результате этого в последующих работах Дворнику пришлось отказаться от своих представлений о чисто церковном характере миссии Константина и Мефодия: в своей работе „Легенды о Константине и Мефодии“

<sup>10</sup> В. Н. Златарски. История на Българската държава през сръдните въкове, т. I, ч. 2, София, 1927.

<sup>11</sup> Проф. Иван Огиенко. История церковно-слов'янської мови. Том перший. Константин і Мефодій, їх життя та діяльність. Варшава, 1927.

Дворник был вынужден признать политический характер этих событий. В этой работе (стр. 229) Дворник отказывается от своих прежних предположений. Анализируя отношения Моравии, Болгарии и немцев в 50—60-х годах IX в., он приходит к выводу, что обращение Ростислава к Византии с просьбой о политическом союзе было неизбежно; он признает, что опасность заключения союза между болгарами и немцами толкала Ростислава на сближение с Византией. Но более того, Дворник стремится доказать, что мораво-византийские отношения уже ко времени Ростислава и Михаила III имели долгую историю. Для доказательства этого он обращается к археологическим данным. Прибегая к обычному для буржуазной археологии приему, Дворник утверждает, что коль скоро в культурных слоях Паннонии были обнаружены изделия византийского производства уже в VI в., значит уже с VI в. между Паннонией и Византией существовали более или менее регулярные торговые связи. Византийские предметы были обнаружены и при раскопках погребений близ городища Старе Место, неподалеку от тех местностей, где традиция устанавливала центр государства Ростислава, — а так как это погребение может быть отнесено к IX—X вв., то следует вывод, что торговые связи с Византией сохранялись в этих областях и до времени Ростислава. Разумеется, этот вывод следует считать очень поспешным: византийские предметы VI в. попадали в Паннонию, где в это время осели аварские и славянские племена, скорее всего не в результате регулярного обмена, но либо в виде даров, посылавшихся византийскими императорами аврам и славянам, либо как добыча, захваченная этими народами в их набегах на византийскую территорию. Да и в IX в. византийские предметы роскоши могли попасть в Моравию не прямо из Византии, но через Болгарию и особенно через Венецию, служившую центром византийской торговли со Средней и Западной Европой. Во всяком случае находки византийских предметов на территории Моравии еще не могут служить доказательством вековых торговых связей (VI—IX вв.), предшествовавших посольству Ростислава и моравской миссии.

После сношений по поводу моравской миссии мы не видим непосредственных связей между Византией и Моравией в течение почти двух десятков лет... Только в начале 80-х годов путешествие Мефодия в Константинополь свидетельствует об этих связях.

Однако Хонигманом было высказано мнение, что Византия пыталась вмешаться в моравские дела десятилетием раньше.<sup>12</sup> Его взгляды опираются на следующее рассуждение.

В Фульдской летописи рассказывается, что в январе 872 г. в Регенсбург к Людовику Немецкому приходили послы от императора Василия I с богатыми дарами и, между прочим, с немалой частью чудотворного креста (*cum parte non modica salutiferae crucis*); послы были приняты с почетом, получили соответствующий ответ и вернулись домой. Ни состав посольства, ни цель его не указаны. В ноябре 873 г. приходил в Регенсбург посол императора Василия архиепископ Агафон „для возобновления прежней дружбы (*ad renovandam pristinam amicitiam*) с письмами и дарами“.

Был ли в составе посольства 872 г. тот же Агафон, — сказать нельзя. Нужно скорее думать, что не был, так как было бы непонятно, почему, назвав Агафона под 873 г., хронист не отметил его под 872 г., хотя обратил внимание на принесенные им дары.

<sup>12</sup> Ern. Honigmann. *Studies in Slavic Church History. II. Archevêque de Moravie, rival de S. Méthode. — Byzantion, XVII (Amer. Ser. III), 1944—1945, pp. 163—182.*

Наличие реликвии (креста) может говорить лишь о том, что в составе посольства были и духовные лица, может быть, епископ, — как это было вообще в дипломатических обычаях Византии; но был ли это архиепископ Агафон, — не видно. Хонигман категорически утверждает, что и в 872 г. Агафон состоял в составе посольства.

Имя Агафона, архиепископа (а может быть, по нашему предположению, только епископа), упоминается в источниках еще один раз — в актах Константинопольского собора 879—880 гг., реабилитировавшего Фотия, где среди епископских или архиепископских подписей встречается подпись Ἀγάθωνος Μωράβων, — Ἀγάθων Μωράβων. Хонигман пытается установить положение, что этот Ἀγάθων и archiepiscopus Agathonus, посол 873 г. (по Хонигману, и 872 г.), одно и то же лицо, и делает отсюда далеко идущий вывод: Византия предприняла шаги, чтобы подчинить себе моравскую церковь, и с этой целью Игнатий в 873 г. поставил Агафона архиепископом моравским вместо Мефодия, находившегося в это время в заточении в Швабии. Догадку Хонигмана проф. Грегуар называет „открытием“ и стыдит советских ученых за незнание его.<sup>13</sup>

Чтобы придать убедительность своей догадке, Хонигман должен был доказывать, что Агафон 873 г. и Агафон 879 г. — одно и то же лицо и носил сан архиепископа; что этот архиепископ был сначала сторонником Игнатия и лишь позднее перешел на сторону Фотия; что посольство 872 г. узнало об исчезновении Мефодия и, следовательно, о вакантности моравской кафедры, — это и дало повод патриарху Игнатию поставить Агафона архиепископом моравским. По Хонигману, о моравских делах в Византии могли узнать даже раньше 872 г., так как Святополк, захватив власть (870), должен был уведомить посольством византийское правительство о своем вступлении на княжеский стол. Если Агафон в подписях назван Моравским, то здесь нужно разуметь, по мнению нашего автора, именно Великую Моравию. Замена Мефодия, ставленника Рима, собственным ставленником, Игнатий сводил счеты с Мефодием, как с фотианином, а Византия мстила тому же Мефодию за его союз с папой, службу Риму и измену интересам империи. Константин и Мефодий представляются сообщниками Фотия в его начавшейся борьбе с папой Николаем I; как орудие этой борьбы или как средство умилостивить папу были использованы открытые Константином в Херсонесе „мощи“ папы Климента: отправляя братьев в моравскую миссию, Фотий дал Константину тайную инструкцию в том смысле, что они должны ждать его приказов, прежде чем передать папе эти драгоценные реликвии, которые могли бы быть полезным средством для примирения с папой. Показательно, что византийские источники совершенно замалчивают имя солунских братьев и их дело; это говорит за отрицательное отношение к ним со стороны византийского правительства, церкви и общества. Константин и Мефодий и сами считали, что Игнатий относится к ним враждебно. Таковы основные утверждения Хонигмана.

Разберемся в них. Прежде всего, квалифицировать построения Хонигмана как открытие нельзя, если бы даже они и оказались обоснованными. Уже Гергенрёттер<sup>14</sup> в 60-х годах прошлого века высказал мнение, что если считать Агафона 873 г. и Агафона 879 г. за одно и то же лицо, то можно было бы предполагать, что через него Византия хотела укрепить

<sup>13</sup> H. Grégoire. Les études byzantines en Russie Soviétique. Académie Royale de Belgique. — Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 5 série, t. XXXII, 10—12 (1946). Bruxelles, 1947; Б. Горьянов. По поводу выступления профессора Грегуара. — Вопросы истории. 1948, I, стр. 110—112.

<sup>14</sup> Hergenröther. Photius, Patriarch v. Constantinopel. B. II, S. 631.



пить свое влияние в Моравии. Но и Гергенрёттер не первый высказал это предположение. За сто слишком лет до него это сделал Лёкень, только гораздо решительнее, именно: Фотий, пылавший злобной завистью (к Риму), пытался (конечно, тщетно) подчинить себе Моравию, поставив для моравов епископом Агафона, присутствовавшего позднее среди архиепископов и митрополитов на соборе 879 г. Замыслы Фотия оказались тщетными, и Моравия осталась под властью римского престола вплоть до вторжения сюда нечестия Лютера.<sup>15</sup> Ошибка Лёкена была бы в том, что он приписал Фотию то, что сделал, по Хонигману, Игнатий. Заметим, что Гергенрёттер был более осторожен в своих суждениях, чем Лёкень и Хонигман.

Можно ли поддерживать тезисы Хонигмана? Был ли Агафон 873 г. тождествен с Агафоном 879 г.? Для доказательства тождества Хонигман приводит два довода: 1) список подписей собора 879 г. и 2) крайнюю редкость в Византии этого имени, так что трудно, даже невозможно, разуместь здесь два лица. По поводу первого соображения можно указать, что в подписях собора 879 г. наблюдается большая путаница; размещения подписей членов собора по рангам не соблюдается; самый ранг членов собора не указывается, и хотя имя Агафона стоит между двумя митрополитами, однако эту же группу митрополитов заключает подпись епископа. Можно считать титул Агафона 879 г. — „архиепископ“ — не вполне установленным. Что касается редкости имени Агафон, то как раз среди подписей того же собора 879 г. встречается другой Агафон — епископ Цезарей (*Κερασσηνών*) в Лидии. Поэтому все те справки, которые собрал с большой тщательностью и осведомленностью наш автор, теряют доказательную силу. Можно сомневаться, что Агафон 873 г. и 879 г. одно и то же лицо. Что игнатианин Агафон мог позднее перейти на сторону Фотия, это вполне возможно, так как подобные перебежки из одной партии в другую при изменении обстановки были явлением заурядным; но если это соображение и вносит поправку ко взгляду Лёкена, то для разбираемого вопроса не имеет значения.

Могло ли, далее, произойти поставление Агафона на место Мефодия в той обстановке, с которой хотел бы связать событие наш автор? Прежде всего воспроизведем хронологическую сеть, в которую должно быть вплетено поставление Агафона архиепископом моравским.

В 869 г. 14 февраля умер в Риме Константин-Кирилл. В конце того же года или в 870 г., в обоих случаях по возвращении Мефодия из Паннонии от Коцела, Адриан II поставил Мефодия архиепископом Моравии и папским легатом всех славянских стран. 869 г. — война между сыновьями Людовика Немецкого и Ростиславом. 870 г. — Святополк изменил Ростиславу, предав его немцам, которые ослепили и заточили его (ум. в 874 г.). Святополк, однако, не получил фактической власти, так как Карломан, управлявший Баварией и Восточной маркой, заставил его жить при своем дворе.

В конце 870 г. немецкие епископы, захватив Мефодия, подвергают его насилиям и издевательствам и „судят“ его, архиепископа и легата, на что, по каноническим правилам, не имеют никакого права. После инсценировки „суда“ Мефодий заточен в Швабии. Папа Адриан II (ум. в 872 г.) не знает об этом, а Иоанн VIII (872—882) узнает через монаха Лазаря в мае 873 г. В январе 872 г. приходит к Людовику Немецкому первое посольство Василия Македонянина. В ноябре 873 г. — второе посольство, на этот раз во главе с архиепископом Агафоном. Во второй

<sup>15</sup> *Oriens Christianus*, I (1740), col. 105—106.

половине 873 г. легат папы Иоанна VIII, Павел, добился освобождения Мефодия.

В дальнейшем ни о каком Агафоне мы не слышим вплоть до 879 г., когда это имя мелькнуло в актах собора, не оставив следа, если не говорить о справедливом сомнении — тот ли это Агафон, который был в Регенсбурге в ноябре 873 г.

Такова хронологическая канва. Куда же можно поместить поставление Агафона? Для него не находится места. Если бы это поставление действительно состоялось, оно необходимо предполагало бы хорошую осведомленность Византии в моравских делах. Каким путем могли проникнуть эти сведения, притом секретного характера, так как немцы тщательно скрывали участь Мефодия, не желая, чтобы слухи о ней дошли до папы?<sup>16</sup> Любопытные византийские купцы, о которых мог бы напомнить Дворник, если они и доезжали в это время до Моравии, помочь едва ли могли: они узнали бы не больше, чем папа.

Предположения Хонигмана, что Святополк после своего прихода к власти отправил для сообщения об этом посольство в Константинополь, принять нельзя, так как, погубив Ростислава, Святополк фактической власти не получил, и понадобилось восстание моравов под предводительством Славомира, чтобы путем новой измены (на этот раз — немцам) Святополк вернул себе власть.

Узнало ли византийское посольство 872 г. об участии Мефодия, сказать с уверенностью нельзя. Посольство шло в Регенсбург, к Людовику Немецкому, а не к моравам, — шло, как нужно предполагать, с политическими, а не церковными целями; если оно и проходило через Моравию, то не имело повода здесь задерживаться; виделось ли оно со Святополком, мы не знаем, да и Святополк в то время не мог чувствовать себя достаточно прочно, чтобы вести самостоятельную политику. Во всяком случае очень сомнительно, чтобы посольство 872 г. успело получить сведения о Мефодии. Но допустим, что сведения были получены и принесены в том же году в Константинополь. Нужно было время, чтобы здесь возник и был обсужден план замещения моравской кафедры своим ставленником; тем более нужно было время, чтобы предварительно договориться (что, по Хонигману, и было сделано) с немцами и Святополком, для чего могло понадобиться новое посольство. Все эти предполагаемые действия должны были занять осень и зиму 872 г. В мае 873 г. Иоанн VIII узнает о заточении Мефодия, во второй половине 873 г. легат папы, Павел, освобождает Мефодия, который снова оказывается на моравской кафедре. В ноябре 873 г. Агафон прибывает в качестве посла в Регенсбург. Очевидно, еще летом этого года он был в Константинополе, а когда, проездом к Людовику, попал в Моравию, моравская кафедра была занята ее законным архиепископом. Допустить, что Агафон был поставлен Игнатием весной или ранним летом 873 г., невозможно: тогда Агафон и отправился бы в Моравию, а не с дипломатическим поручением к немцам.

Хронология исключает возможность замещения моравской кафедры Агафоном.

<sup>16</sup> Когда в Риме предъявили епископу фрейзингенскому Ганнону обвинение в неканоничности собора, судившего Мефодия, и тиранических действиях против него (*archiepiscopus, legatione apostolicae sedis ad gentes fungentem*), тот нагло заявил, что он об этом ничего не знает (*mentiendo negasti*), хотя сам был зачинщиком и виновником всех гонений и бедствий Мефодия. — Папа Johannes VIII. Ep. ad Annonem episcopum. Я с т р е б о в, 83.

Хонигман ищет доказательств того, что Агафон, императорский посол 873 г., был поставлен архиепископом моравским, в глухой подписи под актами собора 879 г. — Ἀγάθων Μωράβων. Что нужно разуметь под словом Μωράβων — Великую Моравию или же небольшой город на Сербской Мораве с этим именем? Ряд ученых (среди них Голубинский, Дворник, из более ранних — Ассемани) видел здесь Сербскую Мораву, и к этому мнению, ввиду безусловной невозможности считать Агафона архиепископом Великоморавским, нужно присоединиться. Хонигман считает невероятным, чтобы епископ небольшого города носил титул архиепископа. Но, во-первых, могли быть архиепископы титулярные, у которых не было в подчинении никаких других епископов (вроде Халкидона и Катаны, отмеченных Хонигманом); во-вторых, можно ли быть уверенным в том, что в списке подписей собора 879 г. сообщаются достаточно точные данные? При беспорядочности, путанности списков не мог ли епископ оказаться рядом с архиепископами? Обозначения титулов-рангов членов собора, как сказано выше, не имеется, и о титуле приходится догадываться по соседству данного члена собора с другими членами. Хонигман сам отмечает, что иерарх Охриды Болгарской (Гавриил) помещен среди епископов, хотя иерарх Охриды скорее всего носил сан архиепископа.

Но не здесь главные, неопределимые трудности для разбираемой „теории“. Эта „теория“ никак не увязывается ни с действиями Рима, ни с интересами немцев, ни со стремлениями византийцев. Начнем с последних, т. е. с Игнатия и Василия I.

Были ли у Игнатия побуждения сводить счеты с Мефодием за его приверженность к Фотию, а у византийского правительства мстить ему за связи с Римом и мнимую измену интересам Византии? Мефодий, несомненно, находился в связях с Фотием, — и не только через брата своего Константина — *amicus fortissimus* Фотия, но и непосредственно, лично: он с братом принял от Фотия предложение итти в Хазарскую миссию; если по возвращении из Хазарии он отказался от архиепископства, то согласился стать игуменом в монастыре Полихрон; в моравскую миссию он пошел с благословения Фотия. Однако было бы ошибкой считать Мефодия приверженцем Фотия в смысле партийности, как не был партийцем-фотианином и Константин. Ни по складу своего характера, ни по идейным интересам своей жизни братья не были людьми партии. *Amicus fortissimus* Фотия, Константин, однако, вступает с ним в философский спор (о двух душах в человеке), клонившийся к защите малопроевщенного Игнатия. Ко двору императрицы Феодоры Константина пригласил логофет Феоктист, правая рука и друг Феодоры и сторонник Игнатия. Через брата и Мефодий должен был стать близким к кружку Феодоры и Феоктиста. Это не помешало братьям сблизиться и с Фотием — особенно потому, что и патриарх, и солунские братья были сторонниками активизации миссионерской деятельности среди соседних языческих народов (болгары, руссы, хазары, моравы и пр.). Но если братья и были в канонических связях с Фотием-патриархом, то это не должно было дать Игнатию повод к какой-либо враждебности к ним. Братья никогда не выступали против него; а всем было известно, что за время первого патриаршества Фотия епископы — ставленники и сторонники Игнатия — почти все перешли на сторону Фотия, так что на соборе 869 г. было признано, что только 22 епископа не изменили Игнатию.

Молчание византийских источников о деле братьев мы не можем считать признаком недоброжелательства к братьям со стороны византийского общества. Это молчание может в известной мере объясняться

тем, что современные братьям историки (Генесий, Продолжатель Георгия Монаха, Симеон Логофет) мало интересовались церковными событиями. Моравия и ее дела были значительно удалены от Византии и не могли привлекать ее внимание в такой степени, как хотя бы соседняя Болгария. Кроме того, значение дела Константина и Мефодия выяснилось не в IX в., а гораздо позднее. Нельзя, далее, думать, что моравское дело братьев было окончательно забыто в Византии и никто не писал о нем по-гречески. Напомним болгарскую легенду (Житие Климента), Охридскую легенду, — хотя это были памятники значительно более поздние. Наконец, нужно обратить внимание и на случайное показание Анастасия Библиотекаря в письме к Гаудериху о том, что песнопения, изданные Константином Философом в описании обретения мощей папы Климента, поются у греков (*Graecorum resonant scholae*). Если вошли в общее употребление сочинения Константина, это говорит за то, что было известно и его имя.

Но главное возражение против теории Хонигмана мы видим в том, что поставление Агафона неизбежно должно было вызвать реакцию со стороны Рима и немцев, а этого-то мы и не видим.

Рим не мог молчать в деле Мефодия, — и он не молчал. Иоанн VIII, узнав в мае 873 г. через монаха Лазаря о суде и заточении Мефодия, принял решительные меры к его освобождению. Не потому, конечно, что Мефодий был ему лично близок и дорог, а потому, что дело шло об авторитете Рима: ставленник и легат апостольского престола подвергся, вопреки каноническим правилам, суду епископов, которые были ниже его по рангу и не имели права его судить. Папа считал, что архиепископ и легат подсуден только ему. Папский авторитет был подорван, с чем Рим мириться не мог. И мы читаем грозные послания и инструкции Иоанна VIII. Папа требует, чтобы Зальцбургский архиепископ Адальвин, как первый виновник низложения Мефодия, лично и восстановил его в его звании. Через легата своего, Павла Анконского, папа порицает Адальвина и Герменриха за их незаконные действия против Мефодия, подвергает Герменриха, который превзошел „жестокость тиранов, свирепость зверей“, запрещению и требует его на суд в Рим. То же было с Ганноном Фрейзингенским. Все эти папские послания падают на лето и конец лета 873 г. В том же 873 г. папа в письме к Карломану подтверждает за Мефодием право свободно отправлять, по прежнему порядку, епископские обязанности в Паннонском епископате. Среди такой обстановки в Моравию является ставленник Константинополя, Агафон. Допустимо ли, чтобы Иоанн VIII, у которого как раз продолжались большие неприятности с Византией из-за болгарской церкви, стал молчать? Конечно, нет. Но, может быть, он об этом не знал? Тогда нужно предполагать, что не знал о своем сопернике и Мефодий, — так как если не он, то его окружение довели бы об этом до сведения папы, на что папа не мог не ответить. Все это совершенно невероятно. Но невероятность этой комбинации еще более усиливает, — если только ее можно усилить, — сам Хонигман. Он полагает, что греки одновременно договаривались и с немцами, и со Святополком о возможности поставления нового архиепископа в Моравию и будто бы получили согласие. Это значило бы, что в то самое время, когда баварские епископы писали свое *Conversio* в защиту немецких прав на Паннонию и Моравию, презрительно называя архиепископа Мефодия *quidam Graecus, Methodius nomine*, который „ввел славянские письмена и привел в пренебрежение латинскую мессу и весь церковный латинский чин“ (*vilesce fecit... missas et evangelia ecclesiasticumque officium*

illorum, qui hoc latine celeberrunt), — что в это самое время те же немцы приглашают нового грека, к тому же еще теснейшим образом связанного с константинопольским императором и патриархом! Мы не настолько легковверны, чтобы принять эту комбинацию.

Не останавливаясь на этом, Хонигман рисует нам любопытную сцену дружеской беседы между Агафоном и немцами: „Легко можно представить, — пишет он (стр. 173), — что, спрошенный немецкими епископами о том, что нужно думать о [его] соотечественнике Мефодии и его претензиях, Агафон отвечает: Мы — греки — не знаем, по какому праву один из этих „философов“ [Мефодий] называется архиепископом; как вы впрочем хорошо знаете, истинный греческий архиепископ Моравии — это я!“

Не будем останавливаться на других соображениях Хонигмана; они падают, как падает его основной тезис. Итак, от „открытия“ Хонигмана ничего не остается.

Из разобранных нами примеров достаточно отчетливо выступают особенности буржуазной исторической науки. Буржуазные историки (Дворник) рассматривают христианизацию как самоцель, как насаждение византийской культуры среди отсталых, варварских народов. Они не хотят видеть того, что насаждение христианства было одним из элементов византийской политики. Но и те буржуазные историки, которые готовы признать политический характер византиино-моравских отношений в середине IX в. (Златарский, Огиенко, Киселков), даже не ставят вопроса о внутренних причинах христианизации Моравии: они не понимают того, что становление классового феодального общества делало невозможным сохранение старой языческой религии, возникшей в недрах бесклассового общества, — христианская классовая религия, освящающая гнет феодалов и царскую власть, была нужна Ростиславу и моравским феодалам не потому, что они восторженно относились к высокой византийской культуре, но потому, что они справедливо видели в христианстве идеологическое оправдание своего господства.

Раскрывается не только методология, но и методика исследования буржуазных историков в работах рецензируемых нами авторов: погоня за сенсационными „открытиями“, которые на проверку оказываются известными уже Лёкеню и Гергенрётеру, пренебрежение к фактам, приводящее к мифотворчеству и превращающее историческое сочинение в антиисторический роман, не говоря уже о той тенденциозности, которая постоянно проявляется в исследованиях, посвященных кирилло-мефодиевской проблеме, и которая особенно отчетливо выступила в работах Александра Брюкнера. Общий кризис буржуазной историографии проявился и в работах, посвященных византиино-моравским отношениям в середине IX в.

*Ф. М. Россейкин*

## II. РЕЦЕНЗИИ

### **Н. М. ТОКАРСКИЙ. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ.**

Издание Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1946, стр. 381 + 96 табл.

Великое художественное наследие древней Армении, в частности архитектурное, поистине огромно. Им по праву гордится армянский народ, и не только армянский, ибо водчество Армении — одно из наиболее